

Намеченная в конце книги сравнительная перспектива могла бы быть расширена, особенно учитывая, что в России начала XX в. не только рецептировались руководства для скаутов, но и выходили в переводах колониальные романы Фалькенхорста, Вёришофер и других авторов, не только немецких. Некоторые из этих книг продолжали издаваться в советское время, стимулируя появление отечественных аналогов, другие же в силу специфики содержания стали переиздаваться только в постсоветскую эпоху<sup>22</sup>. Имел ли кризис имперских приключенческих нарративов влияние, сопоставимое, скажем, с воздействием детективов на восприятие власти в России XX в.? Этот вопрос еще надо исследовать.

К. Ю. Ерусалимский

## «Свои» и «Другие»:

НОВЫЕ ПРОЧТЕНИЯ, НОВЫЕ ВОПРОСЫ

DOI: 10.53953/08696365\_2025\_196\_6\_326

**Образы «Других» в России, 1547–1917** / Под ред. К. Парппей, Б. Рахимзянова; пер. с англ. А. Черного, В. Петрова.

СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025. — 586 с. — 200 экз. —  
(Современная западная русистика = Contemporary Western Rusistika).

Общая цель международного проекта Кати Парппей и Булата Рахимзянова все еще видна. О нем приходится говорить с полным осознанием условий его реализации — конфронтация, война, новые барьеры... В теоретическом Введении составители формулируют основы имагологии, науки об образах, определяющей свой предмет в особой нише между областями психологии, эстетики, антропологии и идеологии. Этот ряд сам по себе воспроизводит довольно оптимистический фрейм науки, созданный в трудах рубежа XX–XXI вв., когда сомнения еще не перевесили теорий социального конструирования. Среди первоочередных спутников Парппей, Рахимзянова и их коллег по проекту — Эдвард Саид, Стюарт Холл, Олави Фельт, Дэвид Ратц. Их объединяет убеждение, что образы могут не просто возникнуть и долгое время пребывать в коллективном сознании, но и вкладываться в него целенаправленно при помощи определенных технологий. Общей концептуальной рамки «Образов...» не коснулись ни ирония антропологов школы Ежи Бартминьского в от-

22 Так, например, впервые переведенная еще до революции трилогия Фалькенхорста «Африканский кожаный чулок» была переиздана в 1992 г. в Луганске тиражом 200 тысяч экземпляров, а уже в 1994 году появилось московское издание в серии-продолжении «Библиотеки приключений». Впоследствии Фалькенхорст еще не раз переиздавался разными российскими и украинскими издательствами, нетрудно найти его сочинения в книжных магазинах и сегодня.

ношении «национальных стереотипов» (стереотипизация — трудноуловимый механизм, ему на смену антропологи предлагают «стереоскопическую» оптику), ни хайдеггерианский пессимизм Ханса Ульриха Гумбрехта (его концепты «настроенный» и «латентности» нацелены на подрыв классической герменевтики), ни пластичные логики «идентификации без групп» в духе Роджерса Брубейкера (далеко не все социальные образы и идентичности вообще имеют какую-либо референцию и призваны ее выстраивать).



Теория образа при изучении тревожащих успехов нашего времени в механизмах расчеловечивания уплощается и прямолинейно отвечает своим задачам. Если необходимо превратить человека в подопытного кролика или таракана, то это удастся всякий раз без особого труда — путем прямой дегуманизации: «В итоге энемификация (конструирование образа врага) может привести к полной дегуманизации “другого”, вплоть до того, что “они” открыто приравняются к животным и даже насекомым-паразитам» (Парпшей и Рахмизянов, с. 16). Конечно, имагология не призвана упрощать картину, и авторы прекрасно отличают, скажем, перенятый у Советского Союза упрощенный образ единой многонациональной России в сегодняшнем

официозе от сложных межэтнических, межконфессиональных, межкультурных и межграницных политических конфликтов эпохи Средневековья и Раннего Нового времени. Другие авторы сборника используют и некоторые иные научные термины для определения инаковости: «приемы описания» (М.В. Моисеев, с. 98 и след.), «топосы» (Н.И. Храпунов, с. 239–240), «дискурсы» (Д. Гутмейр-Шнур, с. 265 и след.), «изобразительные и словесные средства» (О. Минин, с. 448), «взгляды» (И.С. Ратьковский, с. 534). Арбитрами для определения предмета имагологии применительно к прошлому России (Российской империи, Руси и русских земель) служат работы таких историков-антропологов, как Эдвард-Люис Кинан, Майкл Ходарковский или Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе. Акцент в их исследовании делался на гибком подходе имперских властей России к задачам «сбирания земель». Принципы мягкой силы, шаг вперед — два назад, умолчания (культурная скотома, *damnatio memoriae*) и переоблачения в *Другого* («Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы...») воспринимаются в рамках этого подхода как особая стратегия доминирования.

Основной объем книги состоит из пятнадцати глав, разбитых на три неравных (по числу авторов) блока (части I–III). В каждом блоке свой сегмент имагологической конструкции и свой тематический пласт, охватывающий тот или иной аспект «образа “Другого”» (и образа врага) в истории России со времен Ивана Грозного и вплоть до Революции 1917 г. и генерала Лавра Георгиевича Корнилова. У каждого — еще и свои комментаторы, предваряющие тексты по узким проблемам общими соображениями, из которых трудно было бы составить единство, подводящее, например, каждый отдельный блок книги через эти обобщения к вводным ремаркам составителей. Но общие логики в структуре книги все же соблюдены.

Итак, часть I посвящена формированию прототипов, и ее авторы — Чарльз Гальперин, Яакко Лехтовирта, М.В. Моисеев и Рикарда Вульпиус, а роль *key-speaker*’а взял на себя Дэвид Гольдфранк. Первый блок, таким образом, явно тяготеет к незапамятной «древности», когда и возникали «прототипы» *Других*. В этом смысле вполне логично, что первые два автора — видные специалисты по Ивану Грозному, авторы монографий о его правлении. Третий автор — знаток кочевых

культур Раннего Нового времени, в особенности Ногайской орды, а четвертый хотя и выбивается из общего ряда, но очень удачно венчает первый блок историей иноземцев, иноверцев и новокрещен в России XVII–XVIII вв. По пять авторов во второй и третьей частях сборника. Часть II раскрывает тему обозначения «внутренних Других». Ее авторы — Ю.Г. Акимов, В.Д. Пузанов, Н.И. Храпунов, Д. Гутмейр-Шнур и М.Ю. Щербакова, а автор вводных слов — Майкл Ходарковский. Здесь охвачен огромный период с XVII по начало XX в. и широчайший диапазон культур — соответственно, Сибирь, Джунгария, Крым, Кавказ и российские евреи. Наконец, авторы части III, посвященной «Другим» в эпоху противостояния и кризиса, — специалисты по «рубежу веков» А.М. Резвухина, А.И. Резвухина, С.А. Троицкий (им принадлежит первая из глав), Иммо Ребичек, Йоханна Вассхольм, Олег Минин, А.А. Авдашкин и И.С. Ратьковский. Комментарий раздела — Стивен Норрис. Темы продуманы под еще одним особым углом зрения: принцип фокусировки на сей раз не генетический и не географический, а скорее нишевый и субкультурный. В первой главе изучаются зооморфные метафоры в конструировании образа врага в 1890–1905 гг., во второй — «голодные и непохожие» в период голода 1891–1892 гг., затем культур-фронтирная тема — русские как враги в Великом княжестве Финляндском на узком хронологическом участке 1899–1900 гг., сатирическая пресса 1906–1908 гг. в репрезентации врагов и союзников монархистов, образ китайской «желтой опасности» (в наше время сказали бы: угрозы) и, наконец, репрезентации военных в «последний год жизни генерала Корнилова».

Этот проект вполне уместен в наши дни как своими многогранными оптиками, разрушающими в калейдоскопический узор монолитные конструкции идеологий в духе «элитной» истории идей или «сермяжной» классовой перелицовки источников, так и холодной хирургией идеологий насилия. Клоки подзабытых в науке концепций «своего пути» здесь и там свисают в статьях и обобщениях, напоминая о том, что специалисты все еще занимаются «русской историей», потому что ее положено изучать все же отдельно от «всеобщей». Но с первых же слов в методологической части, а особенно многогранно — в ремарках комментаторов разделов и в специальных статьях, очевидно внимание к общемировым контекстам развития местных имагологических тенденций, и прежде всего — *образов врага*. Россия — модерная страна, испытывавшая все «прелести» модерной культуры и модернизации, включая имперские идеологии, колониализм, религиозную нетерпимость и иные формы дискриминации.

В томе содержится множество частных наблюдений, среди которых есть как весьма интересные, так и не вполне убедительные. Взять первые же главы: образ врага в лице иудеев, татар, поляков, литвинов, иноземцев. Формирование *прототипов* очень уж прямолинейное — напоминая, что в антропологии, психологии, социологии и интеллектуальной истории наших дней немислимо видеть формирование стереотипов или стереоскопических идентичностей как однонаправленный и бесконфликтный процесс. К этому же возражению подталкивают и многочисленные соображения авторов отдельных глав. Кто и как мог на практике принять стереотипы *татарина*, *ойрата*, *еврея* или *литвина*, если эти стереотипы противоречили повседневному опыту межкультурного общения? И как тогда работает сценарий «открытия» культуры в реформах Петра I и его наследников на попрание модернизации? Если эти дискурсы не препятствовали энемификации, то в каких случаях этот концепт пригоден, а в каких не работает или является аналитической декларацией и в своем роде рабочей гипотезой? Возможно, перед авторами была поставлена во многом нерешаемая задача, с которой каждый участник проекта справлялся в меру своих возможностей и информативности источников. Но все же — предыстория встроена в историю, а история венчается развязкой.

Подлинная развязка по хронологии расположена сильно дальше, чем «дотянулись» своими историческими рамками последние статьи сборника, и это позволяет надеяться, что у проекта будет продолжение или некий аналог с охватом и более поздних сюжетов, и, возможно, еще более радикальных проявлений российской имагологии. Исследования, посвященные образу врага в советской культуре, в эпоху Чеченских войн, войны в Грузии, СВО и в идеологии современной России, — это неотрывная часть той картины, в которой историзация создает череду мостов и последовательностей внутри проекта, интересно и обещающе реализованного под руководством Парппей и Рахимзянова.

Вводные слова к разделам являются вполне самостоятельными высказываниями. Их можно было бы даже рассматривать как попытки дезориентировать читателя. Обратимся к начальному разделу. Гольдфранк пишет о неведомом авторе «Повести временных лет»: «В первой части ПВЛ летописец с отвращением описывает языческие обряды славян <...>, после чего обрушивает свой гнев и на пришедших проповедовать свою веру иудеев, мусульман и латинян» (с. 33). Почему «с отвращением»? Почему «обрушивает свой гнев»? У летописцев очень разнятся эмоции по поводу славян-язычников и несходны мнения об авраамических конфессиях, из которых религия «латинян» на момент создания «Повести...» все еще с трудом отделялась от «веры греков». Или фактическая неточность о Лицевом своде Ивана Грозного: «В Своде сохранилось в общей сложности более 16 тысяч завершенных, неоконченных либо переработанных иллюстраций» (с. 35; ср. с. 68–70). Нет, их *было* «в общей сложности» в момент завершения работ 16 тысяч, а сохранилось до наших дней значительно меньше. Образ татар в период покорения Казани и Астрахани — был ли он конфликтный и противоречивый или здесь столкнулось множество взаимных оценок (московиты для воинов-татар — прежде всего рабы-гяуры), в которых по каким-то неведомым для многих современников причинам возникла вполне современная идея полной и окончательной христианизации Казани, Поволжья, Крыма, а у кого-то — Османской империи и всего мира. И уж слишком оптимистично представлена в очерке Гольдфранка роль Петра I в «серьезном ускорении» культурных трансформаций России и «полезных контактов» с католиками и протестантами. Большое место первой части книги: первые три главы далеки от сюжетов, касающихся контактов с западнохристианскими конфессиями, тогда как на четвертую главу возложена непосильная задача — освещение не только обращения страны к Европе и модерну, но и отката от Азии и от *не-модерна*. Конечно, к этой логике главы Гальперина, Лехтовирты и Моисеева не подводят — и ее отнюдь не подтверждает работа Вульпиус. Гораздо ярче эта логика проявлена в статье М.Ю. Щербаковой о еврейской этнографии XIX — начала XX в., относящейся ко второй части, и в нескольких статьях третьей.

Как было отмечено выше, на совести составителей тома и авторов кратких обзоров трех его разделов лежит выбор исследовательской оптики. Было бы ошибочно полагать, что все они — два «мотора» и три интерпретатора проекта — единодушны в трактовке основного его предмета. Скажем, от оптимистической методологии Парппей и Рахимзянова заметно отстоит вводная статья ко второй части, написанная Ходарковским. Если следовать логике этого специалиста по истории кочевых народов Евразии и российской имперской политике, то образов *Других* у российских русских долгое время просто не было, особенно на азиатском направлении — в отношении многочисленных народов, для описания которых так и не возникло ни соответствующих наук, ни желания что-то про эти науки знать. В таких условиях было бы затруднительно воспринимать «образы» этих соседей и своих внутренних «иностранцев» как нечто устойчивое и «конститутивное». Последнее понятие служит здесь напоминанием еще об одном ценном достижении антропо-

логии поздней гуманистической эпохи (или ее заката). Ивэр Нойманн создал ряд трудов, представляющих Россию в европейской этнографии и политической мысли как «конститутивного Другого», зеркальную структуру, служащую для самоидентификации не меньше, чем для доминирования над *Другим* (в данном случае — для научного «освоения» России)<sup>1</sup>. В одном из недавних проектов Ивэр Нойманн и Эйнар Виген представили широкую панораму «степных» отражений<sup>2</sup>. Вспомним и другие проекты, нацеленные на переосмысление кочевого *Другого* в российской истории, — книги Байана Боука<sup>3</sup>, Стивена Сэбола<sup>4</sup>, Кристофа Витценрата<sup>5</sup>.

Этот же баланс между *само*-познанием и *друго*-познанием лежит в основе ряда «невозможностей» наших дней: невозможно свести к готовым формулам диаметрально противоположные подтексты *Другого* в концепции М.М. Бахтина и в постколониальных исследованиях, взаимной познаваемости субъектов у Гегеля и Гумбрехта, задач этнографической и политической *классификации москвитов* в рамках европейской интеллектуальной традиции и расширения этой традиции *при участии москвитов* (этот диалог невольно выстраивается в наши дни на расхождениях между концепцией Маршалла По и его продолжателей-критиков)<sup>6</sup>. В России ситуация затруднена выраженным отсутствием университетского и универсалистского гуманитарного дискурса вплоть до позднего XIX в. и до наших дней (периоды «оттепели» в этих сюжетах были столь краткосрочны и непродуктивны, что ими можно пренебречь). Концепция Ходарковского наносит именно такой болезненный укол попыткам окультурить те объективации *Другого*, в которых вслед за Нойманном допустимо видеть череду зеркальных самоидентификаций власти, элит, просвещенных интеллектуалов, революционеров, консерваторов или ранних российских субкультур.

Отчаянию Ходарковского нет предела, и только этим может объясниться, на мой взгляд, его тяга к пессимистическим обобщениям, столь же далеким от реалий, как и обратная крайность. Например: «И поскольку исторически религиозное обращение инспирировалось российским государством, “исконная терпимость”, приписываемая иногда Русской православной церкви, не имела ничего общего с самой церковью и объяснялась исключительно государственной политикой. На протяжении большей части российской истории православная церковь действительно была служанкой государства» (с. 161). Нет, это не так. Ни Вассиан Рыло на Угре, ни митрополит Филипп в Отроче монастыре, ни патриархи Иов, Гермоген, Никон, Иоаким или Адриан, ни старообрядцы, ни Стефан Яворский, Феофан Прокопович или Димитрий Ростовский, ни собирательный герой Н.С. Лескова Савелий Туберозов, ни К.П. Победоносцев отнюдь не подписались бы под словами Ходарковского. А из Российской православной церкви их имена не вычеркнуть — разве что

- 
- 1 Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей / Пер. с англ. В. Литвинова, И. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2004.
  - 2 The Steppe Tradition in International Relations: Russians, Turks and European State Building 4000 BCE — 2017 CE / Ed. by I.B. Neumann, E. Wigen. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
  - 3 Boeck B.J. Imperial Boundaries: Cossack Communities and Empire-building in the Age of Peter the Great. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  - 4 Sabol S. «The Touch of Civilization»: Comparing American and Russian Internal Colonization. Boulder, CO: University Press of Colorado, 2017.
  - 5 Witzenth C. The Russian Empire, Slaving and Liberation, 1480–1725: Trans-cultural Worldviews in Eurasia. Berlin; Boston: De Gruyter, 2022.
  - 6 Poe M. «A People Born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca; London: Cornell University Press, 2000.

К.П. Победоносцева, поскольку он был не только формальным главой церкви, но и идеологом империи, или протоиерея Савелия, да и то не потому, что он фиктивный и собирательный исторический персонаж, а скорее как раз по воле Лескова, который стремился провести своего героя через тяжелейшие испытания («искусы») своего века.

Все говорит не в пользу «государственной политики», а скорее — большого модерного проекта, к которому российские власти и простые жители волей-неволей присоединились. На государственных служилых людей, церковных и академических деятелей, авторов травелогов и этнографов оказывали самое разное влияние схемы, знакомые по классическим современным экспериментам над *Другим*: репрезентации в летописях и самосознании носителей власти (о чем пишут авторы первой части), принципы «богоданного» присоединения к Москве и налогообложения «диких» народов (Ю.Г. Акимов), выпадение из нормализации *Другого* в случае ойратов (В.Д. Пузанов), приближение природы человека к первобытному «зверю» в российском Крыму в духе Ж.-Ж. Руссо (Н.И. Храпунов) или ориенталистское доминирование над «отсталым» российским Кавказом при помощи фотоискусства (Д. Гутмейер-Шнур), навязанный и даже примеренный на *Себя* ориентализм в случае с евреями за чертой оседлости (М.Ю. Щербакова).

Не меньший интерес представляет комментарий С.М. Норриса к статьям третьей части. Необычно даже для саидовской традиции радикального антиколониализма звучат слова о том, как внутренние культурные границы и различия высвечивались благодаря войнам, в которых отношение российских интеллектуалов и обывателей к внешнему врагу нередко смещалось за грани человечности. Со ссылкой на книгу Ольги Майоровой «Из тени империи» (2010)<sup>7</sup> Норрис пишет: «Всплеск интереса к этнографии и истории по-своему усугублял эти различия, так как способствовал выдвиганию на передний план понятия “русскости” и его дальнейшему осмыслению как признака превосходства над прочими, менее цивилизованными народами» (с. 340). Иными словами, в конце XIX в. мы все еще обнаруживаем себя на стадии *прообразов*, возможно, чуть более рафинированных, чем «прообразы прообразов» XVI в. Однако к проблемам идентификации в XVI в. добавляется стратегический ресурс: войны, насилие, этнографическое доминирование над внутренними «дикарями», национализмы окраин начинают сказываться на попытках идентифицировать имперское или национально-имперское целое.

Заключительная часть производит общее впечатление медицинской карты с диагнозом необратимой терминальной деградации. Имагология уступает место *афазии*, патологическим сценариям, формирующим зооморфные образы врага в канун и во время Русско-японской войны, иногда с учетом некоторых культурных ландшафтов карикатурного *Другого* (А.И. Резвухина, Ал.И. Резвухина, С.А. Троицкий), образ единого надэтничного, надконфессионального горизонтального сообщества у русских и татар на фоне общеимперского голода (И. Ребичек), образ странствующих по Великому княжеству Финляндскому русских «шпионов и агитаторов» сразу после подписания Николаем II Февральского манифеста 1899 г. о русификации и его обнародования в Финляндии (Й. Вассхольм), сатирические эскапады политических оппонентов в реакционной правой прессе в годы консолидации право-реакционной идеологии против «жидов, их прихвостней, левшей, кадюков, анархистов, бомбистов и тому подобной твари» (О. Минин, цит. из журнала «Кнут» на с. 457), расистские фобии перед «желтой опасностью», якобы исходящей из Япо-

7 *Maierova O. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855–1870. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 2010.*

нии, Китая и вообще с Востока (А.А. Авдашкин) или превращение генерала Корнилова из «своего» и «спасителя Отечества» во властолюбивого диктатора, а затем в изуродованное взрывами и сожженное «около скотобойни» тело (И.С. Ратьковский, цит. со с. 556).

Патология — не приговор, а диагноз, и подобный угол зрения вполне оправдан в рамках имагологии, науки о *воображении*. Конечно, это не значит, что мы автоматически согласимся со вкусовыми и не всегда взвешенными оценками. Предопределены ли они формулировками авторов статей? Это одна из проблем образовавшегося в сборнике внутреннего диалога. Сама логика подбора статей, сам порядок сюжетов наводят на мысль, что чем дальше во времени и чем ближе к современности продвигается российская имагология, тем ее предмет все подробнее, все менее связан с истоками и прообразами изучаемых «образов», тем труднее воображение идеологов, потребителей и проводников идеологий «достает» до истоков, заложенных в более ранние эпохи и все меньше в них нуждается. Вчитываясь в тексты статей, мы обнаружим не только дискуссионные, но и лишь едва намеченные построения, в которых от выводов не больше, чем в рабочих гипотезах. Например, Ю.Г. Акимов сравнивает русских в Сибири и испанцев в Мексике и Перу. Едва ли не в духе *Sonderweg* звучит следующая формулировка (без единой ссылки на литературу по обоим огромным правоведческим сюжетам): «Там европейцы принуждали индейцев играть по их правилам, например, ставить тотемные знаки на договорах, составленных по европейским стандартам, то есть как бы подписывать их, хотя индейцы не понимали их смысла. Что же касается “символических актов”, заимствованных у индейцев, то они не имели юридической силы (например, за индейцами в целом не признавалось юридических прав на землю)» (с. 184)<sup>8</sup>.

Не менее загадочен пример из статьи В.Д. Пузанова, в которой также нет ни ссылок на литературу по обсуждаемому в ней вопросу, ни анализа первоисточников: «На юге Русское государство и джунгары фактически приняли ситуацию двоеданства, когда тюркские группы вынуждены были платить дань как русским, так и ойратам и таким образом быть в подданстве сразу двух государств» (с. 209). Что значит быть подданным «сразу двух государств»? Это нетривиальный политический сценарий, но — поскольку границы предмета здесь, как и в других статьях, весьма непрозрачны, и образ *Другого* всякий раз обнаруживается то в одной культурной нише, то в другой — никаких пояснений о «двоеданстве» в книге нет.

Не вызывает согласия (или не кажется проясненной) ремарка М.Ю. Щербаковой об отношении русского «фольклора» к евреям: «Образ еврея как “другого” присутствует в славянском фольклоре, уходящем корнями в христианские и дохристианские верования, этот образ вплетен в систему народных сказок и мифов, содержащих распространенные стереотипные представления о евреях» (с. 300). За бесспорной данностью, кроющейся в этом обобщении, совершенно непонятно, какой именно «фольклор» здесь подразумевается и куда именно он «уходит корнями». Источники фольклорных сказаний современной эпохи, особенно в теме, довольно далекой от какого-либо «славянского фольклора» (что бы мы ни понимали под этой также весьма дискуссионной сущностью), не поддаются подобным обобщениям, тем более что за ними вырастают чудовищные образы непонятного и чаще всего псевдонаучного происхождения: славянское язычество и славянское христианство. Нет ничего более современного, чем «древний фольклор».

8 Автору принадлежит одна из первых в российской историографии попыток масштабного сравнительно-исторического исследования в духе *postcolonial studies*: Акимов Ю.Г. Северная Америка и Сибирь в конце XVI — середине XVIII века: очерк сравнительной истории колонизаций. СПб.: Издательство СПбГУ, 2010.

Эксцесс политкорректности можно было бы увидеть в том, как сформулированы выводы в статье И. Ребичек о восприятии голода 1891–1892 гг. российским чиновничеством: «Порой чиновники, подобно [чиновнику петербургского Особого комитета по оказанию помощи пострадавшим Н.А.] Тройницкому, настаивали на существовании культурной иерархии, но отнюдь не для того, чтобы противопоставить татарам положительный образ русского крестьянина. Скорее, они желали таким образом подчеркнуть культурное превосходство в рамках единого сообщества» (с. 412). Как же можно было бы, по мнению автора, подчеркнуть культурное превосходство русских крестьян над татарскими (даже «в рамках единого сообщества») без противопоставления образов русского и татарского крестьянина?

Парадокс книги в целом и ее разноликих разделов по отдельности виден и в одном из самых ее «сильных» тезисов, неоднократно повторенном разными словами. Главный *Другой* Российского княжества-царства и Российской нации-империи — это евреи. В конце XV — середине XVI в. российские церковные и светские власти сделали все возможное, чтобы выдавить иудаизм и иудеев из страны, создать стерильное антииудейское сообщество, что удавалось и в отдельных современных им европейских и арабских сообществах. Однако с разделами Речи Посполитой и введением в 1791 г. черты оседлости этот «образцовый» *Другой* вновь ворвался в русскоязычное самосознание, наводнив его фобиями и фантомными переживаниями. В рассмотренной книге не нашлось ни одной специальной работы, которая бы напрямую проговорила этот латентный источник имаго-воображения. Даже те авторы, которые вскользь упомянули российских евреев или евреев в России, говорят не об иудеях и иудаизме в российском воображении, а либо об уже сложившейся «отсутствующей структуре», либо о том, как сами евреи воплощали или перевоплощали свой этнографический автопортрет. Отсутствие евреев в воображении невозможно приписать афазии, поскольку это отсутствие не вызывало устойчивых компенсаций и других проявлений вычеркнутой ответственности со стороны российского культурного воображения. Однако само это отсутствие, как представляется, составляет характерную особенность современного проекта, заслуживающую специального исследования, даже если оно обречено на месте замалчиваний и подавлений обнаружить подлинное отсутствие.